**Славянофильство**

Н. Л. Бродский

Славянофильство — течение общественной мысли в России в 1840-х — 1860-х гг. Это название было применено в 40-х гг. к тому кругу деятелей, который в лице И. В. Киреевского (1808—1856), А. С. Хомякова (1804—1860), К. С. Аксакова (1817—1860), Ю. Ф. Самарина (1819—1876) и др. считался основоположником школы С., боролся устно и печатно с идейными антагонистами — так наз. западниками. Сами славянофилы считали свое направление «московским», «славяно-христианским» (Ю. Самарин, И. Киреевский) и признавали прозвище, придуманное «петербургскими журналами» в насмешку, не раскрывающим существа их идеологии. Чернышевский еще при жизни указанных лиц писал, что имя славянофилов «не имеет в настоящее время никакого внутреннего смысла» («Очерки гоголевского периода русской литературы», гл. III): признак любви к славянам не был главной особенностью доктрины Киреевского, а Герцен славянофилом называл напр. Мицкевича. Но в 40-х гг. этот термин утвердился в общественном сознании; он стал применяться и к позднейшим публицистам (К. Леонтьев, Н. Данилевский) впрочем без достаточного основания; им же пользовались, сужая общее значение, подчеркивая какой-либо признак, разнообразные деятели русской культуры XIX—XX вв. Но в истории общественной мысли с именем С. по преимуществу связывается та своеобразная доктрина, которая именно в 40—60-х гг. выработала свои философские, исторические и социально-политические воззрения, которая нашла отзвуки и в литературных формах.

Многие стороны славянофильского учения имели место уже в воззрениях дворян-помещиков 20-х гг. Наиболее значительную идейную опору С. нашло на Западе: в немецкой идеалистической философии Шеллинга и Гегеля, в особенности в философии откровения первого. Революционное движение на Западе (Июльская революция 1830, февраль — июнь 1848 и др.), развитие социализма, вызвавшее во Франции со стороны легитимистов, «доктринеров» и прочих врагов демократии своеобразную публицистику, в свою очередь толкало славянофилов на приспособление к своим классовым нуждам французского варианта антиреволюционной, антикоммунистической литературы буржуазной Европы. Чернышевский бросил замечательную, до сих пор во всей полноте не раскрытую мысль, что в С. «нет ни одной существенной мысли (решительно ни одной), которая не была бы заимствована из некоторых второстепенных французских и немецких писателей, преимущественно из писателей, недовольных тем, что их различные отсталые понятия или наивные ожидания не подтверждаются наукою». Рожденное в различных странах национально-освободительной борьбой идейное брожение (напр. панславизм чешских деятелей Шафарика, Колара, Ганки и Штура; польский мессианизм Мицкевича, Словацкого, Товянского; «иллиризм» южных австрийских славян в поэзии Прерадовича) также должно быть учтено как один из факторов умственной жизни Европы, своебразно переработанных родоначальниками русского С. Весь этот сплав европейских возбуждений придавал философский, теоретический наряд самым животрепещущим проблемам, выдвинутым экономикой и политикой страны предреформенного периода и освещенным с позиций той части помещичьего класса, которая пыталась сохранить основы патриархального строя и привить к нему лишь отдельные элементы развивающегося капитализма, которая была напугана призраком второй пугачевщины и одновременно революционной борьбой на Западе. Больше того, самый факт роста капитализма вообще пугал С.; лишь отдельные элементы капиталистической системы С. принимало, стремясь привить их патриархально-феодальному строю.

И. Киреевский собирался создать русскую философию «из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта», т. е. интересов господствовавшего класса. Вместе с К. Аксаковым, Хомяковым и И. Аксаковым он и выполнил эту задачу, доказывая самобытность и своеобразие сравнительно с Западом русского исторического процесса. «Россия — земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны... Все европейские гоударства основаны завоеванием. Вражда есть начало их. Власть явилась там непризнанною и вооруженною и насильственно утвердилась у покоренных народов... Русское государство, напротив, было основано не завоеванием, а добровольным признанием власти. Поэтому не вражда, а мир и согласие есть его начало. Власть явилась у нас желанною, не враждебною, но защитною и утверждалась с согласия народного... В основании государства Русского: добровольность, свобода и мир. Эти начала составляют важное и решительное различие между Русью и Западной Европой и определяют историю той и другой». (К. С. Аксаков, Сочинения, т. I, изд. 2, М., 1889, стр. 16—17). Если Гегель, развивая идею последовательного самораскрытия абсолютного духа во всемирной истории, признавал последней фазой этого процесса историю германского народа и выпускал в своем изложении славянство, т. к. его «влияние на постоянное развитие духа не было достаточно деятельно и важно», если Шеллинг доказывал, что каждый народ, раскрывая одну из сторон человечества, тем выше, чем ценнее и своеобразнее то начало, которое сообщает народу особый национальный отпечаток, то славянофилы в своем стремлении найти опору в начинавшей разлагаться общественной формации обратились к «самобытному православно-русскому духовному быту, чтоб в нем опознать начала нового будущего фазиса общечеловеческого просвещения» (Ю. Самарин), и признали веру, религию определяющим началом всей культуры, «высшим общественным началом». Россия и Европа (католическая, протестантская) с этой стороны — два противоположных культурно-исторических типа. Вера западных народов, возникших на основе древнеримской образованности, одностороння, рассудочна, рационалистична, «разрушает своей односторонностью гармоническую цельность внутреннего умозрения». Восточная, византийская церковь передала России «внутреннюю полноту, цельность, разумность» (в статье И. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», Полное собр. сочин., т. I, М., 1911). Идеалистичность этой концепции и совершенное несоответствие исторической действительности были столь очевидны, что Герцену «споры между католиками и православными» казались «пресмешными», а сами они — «нелепыми и вредными».

Охранительно-помещичья идеология продиктовала и другой характерный принцип С. — утверждение аполитичности русского народа. «Русский народ есть народ не государственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав», писал в 1855 К. Аксаков в записке о «внутреннем состоянии России». Вопреки историческим и современным фактам, демонстрировавшим рост недовольства со стороны крестьянства дворянским государством, К. Аксаков говорил, что «тишина внутри России», что «монархическое неограниченное правительство в русском понимании» — единственная государственная форма, которую «поставил себе русский народ», что «народ покорен, верно и непременно, правительству», что «революция в нем невозможна» и т. д. Славянофилы заявляли, что русский народ, «не ища свободы политической, ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы общественной, — народной жизни внутри себя». Но какие качества, «нравственные силы» признавались Хомяковым и др. в народе? «Терпение несокрушимое и полное смирение» (Сочинения А. С. Хомякова, т. III, М., 1900, стр. 189—190). Феодально-дворянское воззрение выдвигало на главное место рабскую покорность в истории русского народа. Надо отметить, что славянофилы применяли слово народ обычно к крестьянству. Отрицательно относясь к аристократии, к тому бюрократическому дворянству, которое в государственных учреждениях законодательствовало нередко против поместного барства, усадебники-славянофилы опирались на деревенский плетень, в союзе с «патриархальным» крестьянством мечтали Мирно сохранять основы помещичьей обломовщины, украшенные тонкой резьбой восточной мистики и немецкого идеализма. В старине славянофилы нашли и защищали в современности, придавая чрезвычайное значение как основе будущего развития страны, общину. Тщетно западники, как либералы, так и радикальные демократы, доказывали в 40-х гг., что общинное устройство — пережиток, мешающий крестьянству выйти из-под государственной опеки, препятствующий прогрессивным формам экономики, славянофилы продолжали утверждать, что «простой народ имеет великие блага человеческие: братство, цельность жизни и быт общинный» (К. Аксаков). Славянофилы подобно западникам стояли за отмену крепостного права, но если Белинский как автор «Письма к Гоголю» (1847) в отстаивании ликвидации крепостничества шел от интересов революционно-демократического крестьянства, то антидемократическая позиция С. обнаженно выступала из-за их подчас либеральной фразеологии. Защита славянофилами общины, этого, по выражению Ленина, «остатка чисто средневековой старины», исходила из помещичьих интересов той группы землевладельцев, которая, желая расстаться с институтом душевладения, в борьбе с процессом буржуазно-капиталистического перерождения страны отстаивала пережитки докапиталистической старины, тем самым объективно, несмотря на отрицание крепостного рабства, консервировала крепостнические тенденции. А. И. Кошелев в 1858 доказывал, что только общинное землевладение обеспечивает правильное поступление от крестьян выкупных платежей. Общинный строй в воззрениях Хомякова, Ю. Самарина и того же Кошелева был надежным средством предотвращения революционных выступлений крестьянства. Реакционно-помещичья концепция славянофилов, идиллически рисовавших жизнь общинников-крестьян как смиренных поселян, терпеливо сносящих ярмо дворянской эксплоатации, существенно отличалась от воззрений на общину Чернышевского и позднейшего народничества. Вместе с тем взгляды С. характеризуются некоторыми отличиями от мировоззрения помещиков-крепостников. Отличия эти сводились к тому, что славянофилы признавали за крестьянином право собственности на землю. «Пока вопрос о собственности не решился, помещик мог считать землю своею и на деле жить мирно, оставаясь каждый при своем убеждении и взаимно пользуясь землею. Но как скоро подымется решительный вопрос: чья земля? Крестьянин скажет: моя — и будет прав, по крайней мере, более чем помещик» (из письма А. Хомякову от 1857). Прогрессивность подобной точки зрения, пока существовало крепостное право, не подлежит сомнению, и эта сторона в С. признавалась заслуживающей сочувствия как со стороны Герцена, так и Чернышевского. Реакционная утопичность мирного сожительства помещика-землевладельца с крестьянином-собственником ничтожного земельного надела, была вскрыта реальной действительностью после реформы 1861.

Абсолютистская монархия эпохи Николая I так давила охранительным централизмом, приобрела такую «громадную независимость и самостоятельность» (Ленин), через бюрократию — это, по словам Ленина, «первое политическое орудие буржуазии против феодалов, вообще против представителей «стародворянского уклада» — так вмешивалась в общественную и частную жизнь, что и служилое, и чиновное, и усадебное барство, признававшее «монархический принцип священным наследством нашей истории», протестовало против злоупотреблений государственного аппарата, требовало уступок «духу времени» на основе выработанных европейской буржуазией принципов либерализма. Славянофилы выдвинули политическую схему: «правительству — неограниченная власть государственная, народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству — право действия и следовательно закона; народу право мнения и следовательно слова» (К. С. Аксаков в «Дополнении к „Записке“», 1855). Свобода слова, устного, печатного и письменного, особенно энергично отстаивалась славянофилами, неоднократно терпевшими крушение при попытке критического анализа «угнетательной системы правительства»: журнал И. Киреевского «Европеец» был закрыт в 1832 на третьем номере (см. Лемке М., Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., изд. 2, СПБ, 1909, стр. 67—78), цензура в 1853 запретила подготовленный II том «Московского сборника», закрытие на 2-м номере газ. «Парус» (1859), арест Ю. Самарина и И. Аксакова в связи с их литературными работами, поднадзорное положение (с 1853) Хомякова и др., вынужденное печатание Хомяковым за границей богословских брошюр — таков неполный список фактов, наглядно демонстрировавших, как «диктатура крепостников» при Николае I и Александре II расценивала любезное славянофилам «общественное мнение». Но в основе этих устремлений С. к свободе слова лежала верноподданническая преданность царизму: «свобода слова есть верная опора неограниченной монархии; без нее она (монархия) непрочна», писал К. Аксаков, сводя следовательно буржуазный принцип к самокритике господствовавшего класса в целях поддержки «прочности» господствовавшего политического строя.

Отдельные тирады в публицистических высказываниях славянофилов могли быть по тому времени смелыми (см. «Записку» К. Аксакова, его передовицы в «Молве»), но они тонули в пышном наборе слов, однообразно повторявшем ту аргументацию, которая сближала славянофилов с идеологами «официальной народности», которая вызывала возмущение у действительно передовых общественных деятелей, в народившейся разночинно-демократической массе. Возражая против самодурства властей, против «взяточничества и служебного воровства», славянофилы в интересах чистки крепостнического государства выдвигали законосовещательный орган — Земский Собор, ратовали за предоставление «земле» «совершеннейшей независимости духа, совести, мысли». Но историки-марксисты четко расшифровали значение «земли» в славянофильском учении как «помещичьей, буржуазной и кулацкой общественности» (М. Покровский, И. Морозов, Н. Рубинштейн). То же стремление к консервации старинного уклада крестьянской жизни продиктовало славяоофилам их любовь к устному фольклору: значительная роль в этом отношении принадлежит П. В. Киреевскому, собирателю народных песен; вкладчиками его громадного и ценного собрания, начало которому было положено в 1830, были Пушкин, Языков, Гоголь, Кольцов, М. Стахович, П. Якушкин и мн. др.

Из того же идейного побуждения предотвратить наступление новых, по типу европейской буржуазной культуры, общественных явлений вырастала усердно практиковавшаяся славянофилами антитеза Запада и России. Основоположники С., многим обязанные западной цивилизации, много меткого сказали по адресу тех «пустых» (по выражению Чернышевского) представителей русского дворянского общества, которые «ослепляются зловредной мишурой» Запада. (Полное собр. сочин., т. III, СПБ, 1906, стр. 181), но к серьезной критике (хотя и не оригинальной) буржуазного мира и выпадам против пресловутой тошноты по иноземному миру, подвергавшейся осмеянию еще в журналах Новикова, прибавили столько «любимых туманных примесей», «произвольных фантазий», что «исказили ценность (критики) для развития гуманных идей» (Чернышевский в 1857, там же, стр. 180). В числе таких «примесей» была мессианистическая вера, что православная Русь, изжив петербургский период, преодолев дело Петра, оторвавшего народ от «родных источников жизни», скажет новое слово человечеству, станет во главе всемирно-исторического движения. Это обновление мира, по мысли славянофилов, Россия выполнит, в первую очередь вытеснив турок из Европы и захватив град св. Софии. Военно-феодальная, грабительская политика русского царизма нашла так. обр. в С. пламенноного защитника. Чернышевский блестяще разоблачил великорусский шовинизм господствовавшего класса в панславизме славянофилов и указывал западным славянам, как привыкшим к более прогрессивным формам жизни сравнительно с «азиатским» отечественным строем, чтобы они не слушали проповеди московских славянофилов, а «точнее изучали нашу жизнь с ее особенностями» и «рассчитывали исключительно на свои силы для произведения улучшений в своем быте» (Полное собр. сочин., т. V, СПБ, 1906, стр. 136—137).

Вся совокупность церковно-религиозных, антиевропейских взглядов славянофильской школы, отражавшая ее консервативную сторону, вызывала в лагере западников при всем различии группировок во время шумных споров в салонах и кружках, красочно описанных автором «Былого и дум», на страницах журналов отпор, признание С. тормозом на пути буржуазно-демократического прогресса. Герцен в 40-х гг. называл это учение «костью в течении образования»; либерал Грановский, критически относившийся к славянофилам в конце 30-х гг. (см. письма к Станкевичу от 1839), гневно писал о них Кавелину в 1855: «Эти люди противны мне как гробы. От них пахнет мертвечиной. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории» (Т. Н. Грановский и его переписка, М., 1897, стр. 456—457); буржуа В. Боткин, признававший ценным в С. критику космополитизма образованного общества в России, приводившего только «к пустомыслию и пустословию», заявлял: «но в критике и заключается все достоинство славян; как только выступают они к положению, начинается ограниченность, невежество, самая душная патриархальность, незнание самых простых начал государственной экономии, нетерпимость, обскурантизм и проч... Издали эти славянские стремления имеют много привлекательности: я это испытал на себе, а как присмотришься и прислушаешься, то видишь, что в сущности лежит вопрос о невежестве и цивилизации... Это есть не более, как романтические фантазии о сохранении национальных предрассудков» («П. В. Анненков и его друзья», СПБ, 1892, стр. 538—540); Белинский без устали выводил из терпения своих противников колкими замечаниями то о донкихотстве С. (в большой статье по поводу «Тарантаса» В. Сологуба, 1845, с прозрачными намеками на И. В. Киреевского), то об Аксакове Константине, как Манилове, «неудачном авторе брошюры, наполненной фантасмагориями праздного воображения и пустого философствования» (по поводу рассуждений Аксакова о «Мертвых душах») и пр.

Эта борьба между представителями различных течений общественной мысли принимала разнообразные формы. Если Белинский уже в 1840 порвал дружеские связи с К. Аксаковым, былым участником группы Станкевича, то другие западники (получившие это прозвание из славянофильского лагеря) продолжали мирно встречаться со своими противниками. Вернувшийся в 1839 из-за границы Грановский, несмотря на то, что считал убеждения Киреевских «вредными», бывал «довольно часто» в обществе славянофилов, потому что «они люди образованные, мыслящие (хотя и вкось), с глубокими интересами и высокой честности» (в письме к Станкевичу от 17 февр. 1840). Герцен не согласен с Белинским, заявляющим в 1844 о своем недоумении, как могут московские западники поддерживать знакомство с славянофилами: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не хочу». С обострением общественных противоречий в стране линии идейного расхождения стали явственными настолько, что разрыв становился неизбежным. Вначале борьба шла в кружковых спорах, в стенах Московского ун-та. К 1842, когда Герцен поселился в Москве (по возвращении из новгородской ссылки), относится начало публичных словесных и печатных сражений между обоими станами. Грановский, ставший за смертью Станкевича в 1840 и отъездом Белинского из Москвы в 1839 центром притяжения интеллигенции антиславянофильского направления (Кетчер, Боткин, Крюков, Редкин, Ев. Корш), вел бои с университетской кафедры; особенное значение имели его публичные лекции 1843—1844 гг. Герцену выпала доля по преимуществу участвовать в устных спорах с Хомяковым, с Киреевским и др. на многолюдных собраниях в домах Елагиной, Свербеевых и в публицистических статьях («Дилетантизм в науке», 1843, «Письма об изучении природы», 1845, и др.). Белинский начал журнальную полемику в 1842 в «Отечественных записках» статьей «Педант», не находя нужным проводить различие между Шевыревым и славянофилами и продолжая печатную борьбу при всяком удобном случае. Попытки примирения кончались ничем: когда в 1844 И. Киреевский сделал предложение Герцену и Грановскому участвовать в редактируемом им журн. «Москвитянин», те отказались по мотивам принципиального разногласия, заявляя в то же время о личном уважении к редактору. Герцен именно в этом (1844) году записал в своем дневнике: «Как с ними ни ладь в некоторых вопросах — остается страшный овраг, делящий и непереходимый» (4 июня). «...Белинский прав. Нет мира и света с людьми до того разными» (4 сентября). Фанатическая нетерпимость славянофилов, вскрывшаяся особенно ярко в связи с диссертацией Грановского, когда, по словам Герцена, славянофильствующая профессура была готова преследовать московского историка «как лицо», заставила Герцена признать: «Из манеры славянофилов видно, что если бы материальная власть была их, то нам бы пришшлось жариться где-нибудь на лобном месте».

Появление в 1844 стихотворения близкого Хомякову поэта Языкова с явным политическим доносом на главнейших представителей западничества («К ненашим») привело к окончательному размежеванию и в личных отношениях: между Грановским и П. Киреевским чуть было не произошла дуэль, К. Аксаков, по выражению Герцена, «торжественно расстался» с ним и с Грановским; Герцен заявил Ю. Самарину о том же, написав в своем дневнике: «Прощайте, идите иной дорогой: как попутчики, мы не встретимся, это наверное!» Этот разрыв случился в самом начале 1845. В том же году обнаружилась «межа — предел» и в самом стане западников: фейербахианец и утопический социалист Герцен и либерал-идеалист Грановский летом (в одной из бесед в подмосковном селе Соколово, см. воспоминания П. Анненкова) остро почувствовали несогласие по основным вопросам философии и истории, закончившееся в 1846 разрывом между ними (также между Грановским и Огаревым). Отъезд Герцена за границу (январь 1847) и смерть Белинского (1848) знаменовали конец борьбы определенной группы людей, но не идей: против славянофилов, этих, по характеристике Белинского, «витязей прошедшего и обожателей настоящего», в глухую пору политической реакции выковывалось оружие в кружке петрашевцев и несколько позже на страницах того же «Современника», где писал «неистовый Виссарион» одну из последних статей — «Ответ Москвитянину» (1847), в публицистических произведениях Чернышевского.

В последние годы крепостнической России сочинения славянофилов или не читались вовсе или казались смешными привидениями давно минувшего и обреченного на тлен (см. ст. Писарева «Русский Дон-Кихот»). С. быстро и окончательно выродилось (как это давно уже было сказано одним из исследователей) в национализм, в «славянобесие», в оправдание сущего, в злобу и раздражение против тех, кто продолжал звать к борьбе, к критике, к отказу от старорусских московских преданий.

Славянофилы пробовали свои силы и на чисто литературном поприще, выдвинув из своей среды поэтов и драматургов, литературных критиков, отчасти беллетристов. Литературно-теоретические высказывания их — за исключением И. Киреевского, давшего ряд вдумчивых эстетических оценок русских писателей (напр. Пушкина) той поры, когда еще С. не было как школы, — мало оригинальны, не отличаются каким-либо своеобразием, не носят отпечатка самостоятельной эстетической теории. Это случайные высказывания по поводу тех литературных явлений, которые давали повод лишний раз защитить присущие доктрине положения. Фанатически преданные своим убеждениям, славянофилы смотрели на искусство как на проводник общественных настроений определенной идеологии. «Общественный интерес — вот что должно быть задачей литературных произведений!» восклицал К. Аксаков в «Обозрении современной литературы» («Русская беседа», 1857, № 1). Хомяков приветствовал обличительный жанр, доказывая, что «обличительная литература — законное явление... выражение скорбящего и негодующего самопознания общественного». Он же приветствовал «Губернские очерки» Салтыкова, издевался над лирикой Фета, радовался переходу Тургенева от поэм и рассказов с изображением «лишних людей» к очеркам из крестьянской жизни — «Хорь и Калиныч» («Московский сборник», 1847, за подписью Имярек), высоко оценил Некрасова, автора стихов «В дороге». Но эти оценки, как бы стоившие в одном ряду с публицистической критикой Белинского и Добролюбова, отличались от последней тем, что если Белинский защищал Гоголя и натуральную школу за правдивый показ жизни, за элементы критики и отрицания «гнусной расейской действительности», то Ю. Самарин порицал Григоровича, автора «Деревни», за, то, что в повести «собрано и ярко выставлено все, что можно было найти в нравах крестьянина грубого, оскорбительного и жестокого» («Москвитянин», 1847, за подписью М... З... К...); если критики-просветители 60-х гг., продолжая традицию Белинского, придавали значение именно отрицательному направлению «гоголевского периода русской литературы», то славянофилы восхищались смиренным типом крестьянства в «Муму» Тургенева, жалели, что «величайший писатель русский» Гоголь «не договорил своего слова, которое уже рвалось в новую область», т. е. не успел разрисовать в житийном тоне II и III томы «Мертвых душ» (К. Аксаков), и наряду с произведениями сатирического типа, умаленно понимаемыми как картины «временного и случайного», признавали «нрава словесности, служительницы вечной красоты», права «чистого художества» (Хомяков), тем самым скатываясь на охранительные позиции с ограничением тем и типов художественного отражения жизни рамками своей барско-созерцательной идеологии.

Литературная продукция славянофилов, почти исключительно, за вычетом ничтожного количества любовной, чисто личной лирики Хомякова, и домашних посланий К. Аксакова, насыщена пропагандой теоретических основ школы, представляет стихотворную или драматизированную перифразу главных и второстепенных тезисов славянофильского учения. Поэзия славянофилов была только перепевом на особом языке их ученых, публицистических статей.

Ранний Хомяков отражал в своих стихотворениях переживания недовольной, протестующей дворянской интеллигенции конца 20-х гг., орудуя поэтикой многочисленных журнальных стихотворцев того времени с неосознанным либерализмом и сознательным военным патриотизмом:

«О сжальтесь надо мной! О дайте волю мне!

...........................

Противна мне дремота неги праздной

И мирных дней безжизненный покой...

Я не хочу в степи земной скитаться

Без воли и надежд, безвременный старик», —

861 (859)

восклицал Хомяков («Просьба», 1828), но, оказывается, все недовольство быстро сменяется «воинственным восторгом», жаждой «кровавого боя», радостным сознанием, что «на стройных мечетях» Эдырне «орел возвышался двуглавый» («Прощание с Адрианополем», 1829). Поэт энергически клеймит тех, кто вызвал «одноплеменников раздор», кровавую борьбу поляков с русскими в 1831. Но в полном согласии с дворянско-буржуазной политикой самодержавия он мечтает, что «согласье и покой» в славянских народах наступят тогда, когда «орлы славянские» склонят «мощную главу пред старшим — северным орлом» («Ода. На польский мятеж», 1831). Этой теме панславизма Хомяков посвятил несколько стихотворений, причем некоторые, как «Киев» (1839), «Сербская песня» (1849), «Вставайте! Оковы распались» (1853) и др., пользовались широкой известностью среди определенных кругов западного славянства, изнывавшего под властью австрийской монархии. Апологет «двуглавого орла», Хомяков пропел панихиду над Зап. Европой: «Мертвенным покровом задернут запад весь. Там будет мрак глубок...» («Мечта», 1834), выражал веру, что в смене народов, игравших мировую роль, очередь пришла к России:

«И другой стране смиренной,

Полной веры и чудес,

Бог отдаст судьбу вселенной,

Гром земли и глас небес...» («Остров», 1835).

Мотивировав свой мессианизм в стихотв. «России» (1839), Хомяков проводит (в действительности несущественную) черту различия между своими воззрениями и оголтелыми крепостниками, «квасными патриотами» («Мы — род избранный», 1851), и, воспылав надеждой, что схватка между Европой и Россией, так наз. Восточная война, послужит сигналом к окончательному разрешению вопроса о победе православной Руси над магометанским Царьградом («Суд божий», март 1854), должен был признаться, что крепостническая страна имеет «много грехов ужасных» и нуждается в «воде покаяния». В стихотв. «России» (1854) Хомяков нашел сильные и меткие слова обличения того государственного порядка, который затрещал под Севастополем и обнаружил полную непригодность в борьбе с буржуазным Западом. Эти строки неоднократно цитировались как точный снимок с безобразного состояния страны в эпоху Николая I:

«В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!»

Стихотворение это не могло тогда появиться в печати, автор получил выговор правительства, но Хомякову «стало тяжело, что он наговорил нашей Руси столько горьких истин, хоть и в духе любви» (из письма А. Н. Попову 4 апр. 1854), и он написал другое — «Раскаявшейся России» (1854), где уже без всякого обличения рисовал свою Русь идущей даровать миру «святую свободу», «мысли жизнь» и пр. Незадолго до смерти он закончил свою стихотворную работу характерным для него и его единомышленников признанием, что на жизненном поприще высший подвиг — «в терпении, любви и мольбе». Это было сказано в том 1859, когда Чернышевский ездил в Лондон объясняться с Герценом, напавшим на «Современник», когда Добролюбов напечатал статью «Что такое обломовщина?» «Обломовское» победило в барине Хомякове, и в последнем своем стихотворении он продолжал петь осанну «Востоку», продолжал мечтать о преимуществах «патриархальной» российской «азиатщины». Хомяков по поводу своего стихотворства дал не лишенную некоторой истины самооценку: «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозатор везде проглядывает и следовательно должен, наконец, задушить стихотворца». Белинский, не раз писавший о Хомякове-поэте, в статье «Русская литература в 1844 году» закончил подробный анализ стихотворений выводом, вошедшим в историю литературы: «Поэт с дарованием слагать громкие слова во фразистые стопы, поэт, который заменяет вкус, жар чувства и основательность идеи завлекательными для неопытных людей софизмами ума и чувства».

Еще меньше общественного резонанса и литературных достоинств имела драматургия Хомякова. На другой день после знаменитого чтения Пушкиным «Бориса Годунова» в доме Веневитинова, в том же кружке 13 окт. 1826 Хомяков прочитал трагедию в 5 д. «Ермак», которая была написана им в Париже, и продолжала тему, затронутую еще Рылеевым. Пушкин так отозвался о ней: «„Ермак“ идеализированный — лирическое произведение в форме драмы. „Ермак“ лирическое произведение пылкого, юношеского вдохновения не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все даже самая очаровательность поэзии». Поставленная в 1829 в Малом театре и в 1832 на сцене петербургского театра, трагедия имела успех благодаря игре Каратыгина. Романтический образ «разбойника», страдавшего при мысли, что он проклят отцом, героя в борьбе за Сибирь, «подвластную России», гибнущего со словами: «Сибири боле нет: отныне здесь Россия!», отвечал вкусам маловзыскательной театральной публики того благонамеренного большинства, которое в пышности зрелища и привычной патриотике, одурманенное, не замечало ни ходульности характеров, ни риторической стилистики. Вторая трагедия, «Дмитрий Самозванец», была встречена холодно. Белинский подчеркнул враждебность обеих пьес идеологии «новой гражданственности». Так же слаба была поэзия К. Аксакова, вялая, безо́бразная, насыщенная риторизмом. Начав с переводов из Гёте и оригинальных стихотворений, за подписью Эврипидина, типично-романтического в стиле Жуковского содержания, К. Аксаков развернул славянофильскую тематику с середины 40-х гг.: мессианизм («Возврат», 1845); критику петровских реформ, хотя и связанных с именем «великого гения» («Петру», 1845); защиту «земли» против командной бюрократии, которая «на Неве чертит историю» («Безмолвна Русь», 1846); проповедь слияния с народной массой («9 февраля», 1848); призыв к дворянской интеллигенции, обособленно от парода строящей свои идеальные схемы, покинуть высоты бесплодного индивидуализма («Гуманисту», 1849). Тема панславизма («К славянам», 1850) с захватнической тягой к Византии («Орел России», 1854) и гимн «Свободному слову» (1853) как ответ недовольного писателя, которому царская цензура пресекла возможность печатной деятельности (эпизод с «Московским сборником»), завершают стихотворную публицистику К. Аксакова. Пробовал свои силы К. Аксаков и в драматургии. Но попытка использовать сцену оказалась неудачной: его трагедия «Освобождение Москвы в 1612 году» в патриотическую, монархическую тему включавшая вопрос о розни между боярами и народом с призывом к единству между классами, привлекла внимание мракобесов из цензурного ведомства, которые, считая пьесу написанной «в духе православия», испугались возможности «превратных толкований», возбуждения «в простом народе враждебного расположения против высших сословий», запретили постановку после первого же представления. По поводу чисто литетературных особенностей пухлой трагедии К. Аксакова даже близкий к славянофильству деятель, М. Погодин, записал в своем дневнике: «Такая дрянь, что из рук вон». Сам К. Аксаков напечатал в номере от 14 декабря 1850 в «Московских ведомостях» (в отделе «Смесь») без подписи заметку, в которой заявлял, что он отказывается судить о художественных достоинствах пьесы, но что это — «историческая русская драма без прикрас, без фраз, без иностранных героев и интриг, во всей своей простой истине и исторической верности». Наивная оценка, перевернутая в том смысле, что на самом деле в трагедии не было исторической правды, а была прикрашенная допетровская Русь, вскрывает всю меру благодушия энтузиаста школы, столь же сусально подмалевывавшего картины современной ему жизни, как и давно минувшего. Комедия «Князь Луповицкий, или приезд в деревню» (в 1851 написана, появилась в печати в 1856) развенчивала потомка фонвизинского Иванушки («Бригадир»), который собирался «привить просвещение европейское» «дикому, необразованному» народу, но был посрамлен деревенским миром, уехал из своей деревни с большим почтением к крестьянству. Любимый деревней, умный староста Антон, богатая, сытая, привольная жизнь крестьян — все это поражает такой елейной помещичьей хвалой по адресу крепостного быта, что пьеса, хлестко бившая по действительно существовавшим прожектерам из тупоумных владельцев «крещеной собственности», закрепляла против воли автора позиции самых матерых защитников крепостничества. Обломовское нутро патриархального помещика, желавшего как можно дольше задержать «устои» старого быта, продиктовало Аксакову этот славянофильский памфлет в драматизированной форме.

С чертами большей реальности в отношениях к сугубо славянофильским вывертам брат К. Аксакова, И. С. Аксаков, неоднократно подсмеивавшийся над увлечениями К. С., проявил в зарисовках деревенской жизни иной подход: в «Зимней дороге» (1847) наряду с типичной для школы характеристикой западника и славянофила дана довольно мрачная картина деревенской жизни, а в поэме «Бродяга» (1852) изображен побег крестьянина из деревни, жизнь его среди других «бродяг», мечтавших о воле, «о просторе степей, приволъе камышей». Церковно-православная патетика вскрывает меру авторского свободомыслия, но поэма из крестьянской жизни заслуживает внимания между прочим и потому, что ее стихотворный размер повторится позднее у Некрасова («Корнил бурмистр ругается, Кузьма Петров ругается, и шум и крик на улице» и т. д.). И. Аксаков с большей резкостью, чем все славянофилы, обнажает пустоту, никчемность, фальшь, иаигранность чувств «образованного» дворянства («С преступной гордостью», 1845, «Мы все страдаем и тоскуем», 1845, «К портрету», 1846); с большей силой чувствует невыносимый гнет абсолютизма, после 1848 дошедший до крайней степени подавления малейших ростков оппозиции режиму («Пусть сгибнет все», 1849). И. Аксакову принадлежит яркая формулировка николаевского царствования:

«Сплошного зла стоит твердыни.

Царит бессмысленная ложь!»

Либерально встречал И. Аксаков годы под готовки к крестьянской реформе («На новый 1858 год») и, подобно всем друзьям по направлению, по-обломовски, притупляя острие классовой борьбы, идиллически лепетал:

«Дню вчерашнему забвенье,

Дню грядущему привет!»

Но едва лишь показались сформировавшиеся кадры готовых ринуться в бой с дворянской обломовщиной, с политическим порядком бесправия и насилия во имя демократической революции, И. С. Аксаков советует людям своей партии бросить «возвышенные радости искусства и любви»:

«Не время вам теперь скитаться

В „садах Аркадии златой“:

Гражданский быт готов распасться,

Готов возникнуть быт иной!»

и, полный готовности дать отпор вражескому стану, в 1862, отметив в стихах: «на славное служение мы собираем нашу рать», прекратил пользоваться искусством — средством пропаганды своего учения и перешел к перу публициста, в газетах «День» и «Русь» противополагавшего славянофильскую доктрину, уже без всяких оттенков даже безобидного «гуманизма», всем течениям общественной мысли, которые были в оппозиции к националистскому великорусскому шовинизму, к монархизму, к «диктатуре крепостников». Так с 60-х гг. началась духовная старость славянофильской школы, почти сказавшей уже в 40-х гг. все свои слова, продолжавшей лишь варьировать штампованный кодекс реакционной и контрреволюционной идеологии.

**Список литературы**

Андреевич Е. (Соловьев Е. А.). Опыт философии русской литературы, СПБ, 1905, Плеханов Г., М. П. Погодин и борьба классов

 Сб. статей «Очерни по истории русской общественной мысли XIX века», П., 1923 (см. также «Сочинения», т. XXIII, М. — Л., 1926)

 Рубинштейн Н., Историческая теория славянофилов и ее классовые корни, «Русская историческая литература в классовом освещении», Сб. статей с предисл. и под ред. М. Н. Покровского, т. I, Изд-во Комакадемии, М., 1927

 Морозов И., Актовый материал на службе помещичье-буржуазной историографии (спор 1856 о сельской общине в России). «Проблемы источниковедения», Сб. первый Огиз, М. — Л., 1933. См. также: Собр. сочин. А. С. Хомякова, И. Киреевского, братьев Аксаковых, Ю. Самарина

 биографии и биографические материалы, исследования и критические статьи о славянофильстве, а также указатели литературы пи данному вопросу ем. в книжке «Ранние славянофилы», составил Н. Бродский, М., 1910, стр. 203—206, имеющей в настоящее время только подсобное значение, как сборник материалов.